

**М. Горький**

**Мужик**

Москва  
Книга по Требованию

УДК 82-3  
ББК 84

**М. Горький**

Мужик / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2011. – 78 с.

**ISBN 978-5-4241-2689-5**

Русский писатель Максим Горький - одна из самых значительных, сложных и противоречивых фигур мировой литературы. В прозе, драматургии, мемуаристике писатель с эпическим размахом отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века.

**ISBN 978-5-4241-2689-5**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011  
© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Горький Максим  
Мужик



А.М.Горький

Мужик

Очерки

I

В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощупывают - нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словом, и - дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запыет, сопыется с круга,- никто ему в этом не помешает.

В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость,- мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь в одну из наших мерок, мешают нам скорей покончить с определением, человека. И, наверное, часто бывает так, что эти черты,- быть может, очень важные в человеке, готовые развиться в нем до оригинальности,- не развиваются лишь потому, что остаются незамеченными со стороны, и, может быть, человек сам заражается невниманием к ним и борется с их ростом, боясь быть непохожим на людей. Если же эти черты и оттенки особенно выпуклы, они вызывают в обществе даже враждебное, чувство, и тогда к обладателю их начинают относиться так же, как нищие на церковной паперти к своему товарищу, который получил от купчихи семишником больше, чем они.

Полугода не прошло с того дня, как в наш город приехал на службу архитектор Аким Андреевич Шебуев, и уже о нем заговорили, он стал желанным гостем во всех интеллигентных кружках. Он сразу возбудил к себе всеобщий интерес, но в то же время никому не понравился. Суждения о нем были очень разнообразны, но одинаково сдержанны, сухи, и за ними явно чувствовалось нечто нелестное для архитектора: какое-то недоверие и даже враждебность к нему. Он не только не поддавался определению, но чем дальше, тем более замечалось в нем каких-то еретических особенностей. Уже одно то, что он ходил ко всем и никому не отдавал предпочтения, возбуждало неприязненное чувство к нему. В каждом кружке есть своя мораль, свои симпатии и вкусы невидимые, но прочные веревочки, которые, связывая всех членов кружка в одно целое, ограничивают его от других кружков. Было замечено, что Шебуев не хочет связать себя этими веревочками и даже дерзко и насмешливо пытается спутать или порвать их. А это вызывало раздражение против него, но вместе с тем и усиливало интерес к нему.

Он и с внешней стороны сразу привлекал к себе внимание. Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с большой головой на крепкой жилистой шее и несоразмерно длинными руками. Природа, должно быть, очень торопилась создать его и поэтому отделила чрезвычайно небрежно. Лицо у него было грубое, скуластое; широкий лоб слишком выдавался вперед, отчего серые глаза глубоко ввалились в орбиты. Длинный горбатый нос некрасиво загибался

к русым усам и вместе с толстой нижней губой, которая казалась пренебрежительно оттопыренной, придавал лицу выражение насмешливое и неприятное. Но его живые, блестящие глаза несколько скрашивали это топорное лицо, а когда он улыбался, оно принимало выражение добродушно-умное, но опять-таки какое-то снисходительное. Говорил он громко и уверенно, сопровождая и подчеркивая речь сильными угловатыми жестами длинных рук, а голос у него был какого-то неопределенного тембра, как будто еще не выработался. И вообще в нем было что-то незаконченное, угловатое. Одевался он в очень дорогие костюмы из каких-то особенно плотных и прочных материй. Сшитые удобно, они отличались явным пренебрежением к моде. То он являлся в длинном сюртуке, застегнутом наглухо вплоть до ворота и похожем на военный мундир, то на его широкой фигуре красовалось какое-то подобие австрийской куртки. И это особенно раздражало некоторых.

- Уж если он действительно оригинал,- говорил наш умный и рассудительный доктор Кропотков,- так зачем же подчеркивать это еще и костюмом? И почему,- раз он хочет привлекать к себе внимание даже и внешностью своей,- почему бы тогда не одеваться во всё красное или голубое?

Доктор был человек солидный и ужасно любил порядок. Идя по тротуару и увидав камешек на нем, он непременно ловким ударом трости отшвыривал его из-под ноги на мостовую и всегда после этого так оглядывался вокруг себя, точно приглашал всех людей брать с него пример. Все вопросы он давно уже решил, и всё в жизни было для него просто и ясно. Настроение у него было спокойное, внешность внушительная, речь уверенная; он имел в городе большую практику среди купечества, играл в винт по маленькой и искал себе невесту. У него была роскошная русая борода, и во время разговора он всегда поглаживал ее медленным и красивым жестом. Высокого роста, здоровый, он держался прямо.

Шебуев с первых же встреч возмутил его.

- Помилуйте! - даже несколько обиженно говорил он,- ведь это бог знает что! У него всё в голове спутано, перемешано, и он решительно не имеет того, что называется определенным мирозерцанием и для меня имеет значение, так сказать, диплома на звание культурного и, скажу, передового человека. Я, конечно, не буду отрицать его ума, но скажу - это ум грубый, негибкий ум, первобытный, не ограниченный дисциплиной логики...

У доктора был огромный запас прилагательных, и когда он начинал что-нибудь определять, то как будто кирпичами обкладывал предмет определения. Так как при всех своих достоинствах доктор был еще и либеральный человек, то он считал своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны Любимовой

Около этой женщины собрались в маленький, тесный кружок, быть может, самые интересные люди в городе, и она пользовалась среди них искренним уважением. По специальности акушерка, она училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе. Устроилось это благодаря ее хорошим отношениям с губернаторшей, у которой она принимала, а также, наверное, благодаря тому, что в ней самой было нечто неотразимое, искренно и глубоко располагавшее всех к ней.

Образованная, работающая и скромная она была красива тою здоровой русской красотой, которая теперь встречается уже редко, почему-то отцветая из поколения в поколение.

Высокого роста, стройная, с могучей грудью и овальным лицом, с огромной косой каштановых волос, она двигалась плавно, голову держала высоко, и это придавало ее фигуре осанку гордую и смелую... Очень хорош был взгляд ее темно-голубых глаз, красиво оттененных густыми, почти черными бровями. Спокойный, ласкающий и умный, - он как-то сразу вызывал почтительное чувство к этой женщине, возбуждая у каждого желание понравиться ей. Всегда красиво-ласковая, всегда приветливая, она умела как-то особенно улыбаться, - спокойной бодростью духа веяло на человека от этой улыбки. Голос у нее был мягкий, грудной, но она говорила немного, кратко, и в каждом слове ее чувствовалась искренность прямой и несложной души. На вечерах у нее всегда было шумно, и в оживлении гостей ее сдержанность и молчаливость выступали особенно заметно. Была у нее одна странность - она не любила женщин, и у нее не было подруг, кроме Татьяны Николаевны Ляховой.

Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца. А сердце у нее было хорошее, неисчерпаемо доброе и, должно быть, такое же живое, трепетное, испещренное лучистыми морщинами, как и ее милое лицо. Она была вдовой почетного мирового судьи и председателя съезда мировых Матвея Кирилловича Ляхова, умершего от разрыва сердца лет восемь тому назад, в день ареста его единственного сына, только что окончившего университет. Татьяна Николаевна схоронила мужа, проводила сына до Перми и, возвратясь домой, вся ушла в свою школу, и прежде горячо любимую ею. В тот же год помер и сын ее от чахотки. Говорили, что, узнав об его смерти из официальной бумаги, Татьяна Николаевна с испугом подняла кроткие глаза свои к небу и робко, вся вздрагивая, спросила:

- Ну, зачем это?.. За что это?..

А через три дня уже снова взялась за работу. Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело. Была она маленькая, худенькая, нервная; на ее сморщенном, розоватом личике, как две неугасимые лампы, горели славные, подетски ясные глаза. Одета всегда в одно и то же гладкое черное шерстяное платье, она, как ласточка, изо дня в день мелкими и быстрыми шагами носилась по улицам города, отыскивая уроки для молодежи, посещая захандрившую от усталости или больную учительницу, вечно с книгами под мышкой, вечно озабоченная и живая... Сердце у нее, наверное, не умолкая, ныло от тоски по сыне, но никто не умел и не мог так, как она, ободрять утомившихся и тоскующих людей... Ее все любили, хотя порою и подтрунивали над нею за то, что она называла своей верой. А вера у нее была ясная и наивная, как и сама она.

Каждый раз, когда при ней говорили о неустройстве жизни и искали кратчайший путь к достижению всеобщего довольства на земле, Татьяна Николаевна приходила в нервное возбуждение и, складывая ладошками свои сухонькие, крошечные ручки, говорила умоляющим голосом:

- Ах, господа, всё это не так! Всё это разрешается гораздо проще! Увеличьте количество сознательно живущих, критически мыслящих людей - и все разрешится! Дайте народу образование, и он перестроит жизнь, он сам создаст новые

формы жизни,- уверяю вас!

Познакомившись с Шебуевым, она с первой же встречи стала на него обиженно фыркать. Послушает его и вдруг, пресмешно надувши губы, фыркнет, встанет со стула и демонстративно уйдет куда-нибудь в уголок, подальше от него.

- Я удивляюсь вам, господа! - говорила она, волнуясь и вздрагивая, чего вы так носитесь с ним? По-моему, он просто декадент и... ужасный эгоист... и вообще совершенно неинтересный и несимпатичный... ни во что не верующий... противный человек!

Но однажды у Варвары Васильевны между старушкой и доктором вспыхнул ожесточенный спор о роли интеллигенции. Доктор внушительно говорил ей:

- Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...

- Как будочники на перекрестках, да? Как столбы деревянные, да? кипела, взмахивая ручками, уважаемая Татьяна Николаевна.- Ах, какая живая, какая великая, героическая роль! Да как вам не сты-быдно, о доктор!

- Но позвольте же, почтенная Татьяна Николаевна,- снисходительно улыбаясь, говорил доктор,- в чем же вы полагаете обязанности интеллигенции, а?

Как раз в разгаре спора пришел Шебуев.

- Вот еще один, вот! - набросилась на него Татьяна Николаевна.- Ну-с, а вы что скажете?

- Я прежде всего скажу - здравствуйте, Татьяна Николаевна,- протягивая ей руку, с добродушной улыбкой сказал Шебуев.

- Ах, это приличия! Ну, хорошо - и будет, достаточно приличий. Нет, вы вот скажите-ка, что такое интеллигенция, да-с... Ну-те-ка, скажите!

И она насканивала па него с таким видом, точно хотела ущипнуть.

- Интеллигенция?.. А это цвет ржи...

Татьяна Николаевна удивленно взглянула на него, на секунду замерла на месте, и вдруг глаза у нее радостно заблестели.

- То есть? То есть? - с живостью вскричала она.

- Видели вы, как рожь цветет?

- Рожь? Как это метко! Как это славно! Какой вы... милый! Нет, право, какой вы умный! А ведь я думала, что вы декадент. Вы меня простите!

- Да вы подождите ликовать! - смеясь, сказала ей Варвара Васильевна. Ведь он не сказал ничего нового... Всем известно, что интеллигенция - цвет народной массы... А вы спросите-ка его - в чем же роль интеллигенции?

Шебуев повернулся к ней и ответил:

- А вот именно в том, чтоб цвести ныне, и присно, и во веки веков...

- Ну, и это не ново...

- Не ново,- согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...

- А кто же его будет есть, этот хлеб? - спросил доктор.

- Мужик! - кратко и спокойно сказал Шебуев.

- Ну да, конечно! Народ, ну да! - в радостном волнении закричала Татьяна Николаевна.- Ведь я всегда говорила, что он - самое главное, он цель нашей жизни... Ах, Аким Андреевич, как мне приятно понять вас! Как я рада, что вы так верно понимаете всё!

И с этой поры она перестала отличать Шебуева от хороших людей, которых, впрочем, она насчитывала вокруг себя десятками.

Но особенно близко и скоро сошелся с Шебуевым молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин. Это был высокий и стройный мужчина с красивыми темными глазами и с острой черной бородкой. Он носил длинные волосы, писал стихи и частенько печатал их в толстых журналах, но относился он к ним как-то небрежно, сам же подсмеивался над ними и сочинял на них пародии. И в стихах его, иногда очень искренних и красивых, и в пародиях па них всегда звучало что-то грустное, какая-то болезненно дребезжавшая нота, Постоянно задумчивый и сосредоточенный, он был как-то странно тих, редко оживлялся, но очень любил говорить о ничтожестве всего земного, о таинственной судьбе человечества, о противоречиях ума и чувства в человеке и о других столь же премудрых вопросах. Голос у него был приятный, мягкий, и порою его лирический пессимизм, изливаясь из груди в грустных баритональных нотах, наводил на людей тоску.

- Будет вам ныть, Павел Иванович! - говорили ему.

Он не обижался и умолкал, с доброй и грустной улыбкой поглядывая на публику. Его очень любили в городе, и, кажется, больше всего он привлекал к себе любовь своей беспощадной искренностью. Мягким, ласковым голосом, с тихой улыбкой в красивых глазах он говорил всем такие вещи и задавал такие вопросы, за которые всякого другого человека возненавидели бы. Но его слушали, конфузились пред ним, смущенно посмеивались и отвечали ему и любили его. Ибо все понимали, что человек этот не судит и не осуждает, а как бы чего-то ищет в людях, ищет с мучительным напряжением ума и чувства.

Он и ввел архитектора в кружок Варвары Васильевны. Оказалось, что он знал Шебуева еще во времена студенчества и что Шебуев вместе с ним слушал медицину, но со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. В ту пору он держался в стороне от товарищей и слыл среди них за человека себе на уме. Было известно, что он жил уроками и часто голодал, но за помощью ни к студентам, ни в благотворительные общества не обращался.

- Помню, кто-то говорил мне, что Шебуев - крестьянин, что, кончив учиться в школе, он тихонько от родных убежал в город... Очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться к экзамену зрелости и наконец попал в университет. Много рассказывали о нем, но я позабыл и спутал всё, хотя помню, что рассказы были крайне любопытные, даже с драматизмом, и производили сильное впечатление, очень лестное для него.

Выслушав рассказ Малинина, доктор начал гладить бороду, что всегда было верным признаком его желания высказаться.

- Господа! Доктор начинает искать в своей бороде мысли! - вскричал Сурков, человек дерзкий, вечно всех задиравший и даже с виду похожий на ерша. Доктор терпеть его не мог и постоянно с ним спорил, но на этот раз он не обратил внимания на выходку Суркова. Видно было, что он глубоко заинтересован рассказом Малинина.

- Я думаю,- начал он,- я думаю, что этот господин-то, что называется карьерист! Вы обратите внимание-человек уходит из университета в институт инженеров... Это характерно - не правда ли? Карьеру доктора, возможность утолять боли и страдания людей, нельзя менять на карьеру инженера, да-с! Скажу больше,- если он действительно мужик, то уж, вероятно, карьерист... Они все,

эти наши мужички, очень жадны до денег,- это факт. И это естественно, ибо, по их представлению, деньги - огромная сила, всё нивелирующая, всё покупающая, на всё готовая... Они воспитаны в этом, и я, разумеется, их не виню. Они всю жизнь и всюду видят мощь денег, они не могут не замечать, что человек с деньгами всегда прав... Но и вообще мужик нечто особенное в смысле морального строя... И, скажу, он даже и тогда, когда порядочен, непременно скрывает где-то внутри себя... жадного до денег хитреца... Опять-таки я его не виню. Жадность эта - его природное свойство и внушается ему условиями быта. Он голоден, и потому он жаден...

- Позвольте спросить, доктор,- вежливо обратился к нему Сурков,- ведь вы, кажется, мещанин по происхождению?

- Да, я мещанин... Ну-с, что же дальше?

- Сделав столь ценную характеристику мужика, не можете ли вы набросать нам схему мещанской души, мещанской морали? Конечно, не в тоне исповеди, а так, слегка...

Доктор пренебрежительно посмотрел на него и ответил:

- Вам бы, милостивый государь, должен быть известен тот факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты особенностей своего класса...

- То есть я должен допустить, что рыло свиньи, изучившей, например, философию, может облагородиться до сходства с лицом Диогена? Нет, я это пошутил, я не могу допустить такого перерождения... Но позвольте, мещанин может переродиться, а мужик - нет?

- Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику...- важно и убедительно внушал доктор.

Споры с Сурковым обыкновенно затягивались до бесконечности,- этот человек умел всех раздражать, как оса. Публика, привыкшая уже к его парадоксам, дерзостям и задору, прекратила его спор с доктором, попросив Малинина сказать его мнение о Шебуеве.

- Я ведь знаю его не больше вас,- уклончиво ответил он.

- Ну, полноте! - сказал доктор.- Определите, как он - нравится вам, не нравится? Что именно говорит за него, что против, на ваш взгляд? Ваше определение очень ценно для всех... вы такой у нас... такой...

Малинин с упреком взглянул на него и убедительно заговорил:

- Я не люблю определять человека... Это значит - обижать его, стискивать сложность его души... Это нехорошо... Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и уже одно это - очень большое достоинство... В нем сила есть...

Разговор о Шебуеве замялся после этих грустных слов. Малинина считали влюбленным в Варвару Васильевну, и его отказ говорить о Шебуеве поняли как проявление возникающей ревности, хотя отношение Малинина к архитектору, казалось бы, не могло допускать такого толкования. Малинин чуть не каждый день виделся с Шебуевым, бывал у него на квартире, ходил с ним гулять и, видимо, искренно привязывался к нему. И Шебуев всегда смотрел на грустного человека более мягко и ласково, чем на других, а в разговоре с ним зачем-то даже понижал голос.

Кроме Малинина и других до сей поры названных лиц, ближайшими членами кружка Варвары Васильевны были еще несколько мужчин. Один из них - Филипп Николаевич Хребтов - представлял собою удивительно курьезную фигуру. Длинный, сутулый, с кривыми ногами и страшно изъеденным оспой лицом, он был крайне близорук. Но его золотые очки, очевидно, плохо помогали ему, и он смешно вытягивал голову вперед, что вместе с его изогнутым телом и напряженным взглядом каких-то неподвижных светлых глаз производило чрезвычайно странное впечатление. Казалось, он видит вдали что-то крайне соблазнительное для него, что-то упорно влекущее его к себе и хочет прыгнуть гуда, в эту даль. Весь он был какой-то цепкий, подстерегающий и твердо уверенный в чем-то, известном только ему.

Он учился в университете, но курса не кончил и теперь занимал должность управляющего в местном книжном магазине. По происхождению сын портного, он имел в городе среди ремесленников неисчислимое количество родных и знакомых. То и дело он пировал на свадьбах, именинах, крестинах и даже "просто так" у медников, сапожников, портных. Относился он к этим пирам как к делу в высшей степени серьезному и важному и от приглашений никогда без уважительной причины не отказывался. Он писал своим знакомым разные деловые бумаги, вмешивался в их семейные дела, даже вел в суде и выиграл очень сложный процесс ремесленной управы с городом. Кажется, он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил, влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню. Любил он выпить, но, выпивши, не терял какой-то приличной и скромной уверенности в себе и не становился более разговорчивым, чем был в трезвом виде. Он не любил говорить, и, когда у Варвары Васильевны поднимались споры на отвлеченные темы, Хребтов тихо сидел где-нибудь в сторонке, засунув под стул свои кривые ноги, внимательно слушал, низко наклонившись вперед, и, упираясь в колени руками, всё время быстро шевелил пальцами. Это была его обычная поза, к ней все привыкли - и она не возбуждала недоумения. Но если при нем начинали обсуждать какой-нибудь, хотя бы и незначительный вопрос практической жизни, Хребтов тотчас же цеплялся за него с разных сторон и не отступал уже до той поры, пока дело не являлось перед ним, как очищенное от скорлупы яичко.

К Шебуеву он отнесся на первых порах с большим вниманием и любопытством. Слушая его речи, он еще более нагибался вперед и быстрее шевелил пальцами. Но вскоре ему, очевидно, что-то не понравилось в архитекторе, и это тотчас же все заметили: он перестал слушать Шебуева. Разумеется, его сейчас же спросили - в чем дело.

- Я, может быть, ошибаюсь: я плохой психолог,- тонким, режущим уши голосом заговорил Хребтов.- Мне показалось, что он снисходительно относится ко всем нам, как бы с какой-то высшей точки зрения... Знаете, что-то самодовлеющее звучит в нем. Это мне не нравится... это что же такое! И затем, если это так, если высшая точка зрения, то пусть объяснит... Несомненно, что у него есть своя программа... Но это ведь не резон для того, чтоб... так странно относиться к нам...

- Он - буржуй! - рявкнул своим огромным басом Кирмалов, товарищ Хребтова в его сношениях с ремесленниками, а по специальности архиерейский певчий,

сотрудник местной газеты и горчайший пьяница. Это был типичный представитель талантливых и потому несчастных русских людей. В маленьких рассказах из быта певчих и рабочих, которые он печатал в местной газете, всегда было много горячей любви к людям и хотя грубой, но сильно волнующей душу поэзии. Было в них и знание быта и умение схватывать характерные черты... И всегда при чтении этих рассказов с грустью чувствовалось, что автор мог бы сказать больше того, сколько сказал, мог бы лучше сказать и даже до ужаса за людей взволновать душу читателя. Но чего-то не хватало автору...

Человек этот держался неестественно прямо и говорил ревущим басом и имел что-то сходное с фабричной трубой. Во время его речи было даже странно видеть, что из его огромного рта не идет дым. Глаза у него были вдохновенно-безумные, волосы на голове всегда растрепанные, одевался он грязно и небрежно и вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного. Но в то же время он тонко чувствовал и прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне; он до безумия любил хорошую музыку, глубоко понимал ее красоту и сам удивительно хорошо играл на гуслях. Большую часть своего времени он проводил с рабочими и разными оборванцами в кабаках и трущобах, а когда рассказывал о них, - гнев, скорбь, страстная любовь к людям переливались в его голосе и сверкали в глазах...

А Владимир Ильич Сурков играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой, - он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой. Являлся он со своим острым носом, оседланным пенсне, кидал в публику две-три фразы - и все возбуждалось, сердились, набрасывались на него. Он сладко прищуривал свои черные мышинные глазки, задорно поднимал нос кверху и говорил еще что-нибудь раздражающее. Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя. Порою он пресерьезно и даже как будто с искренней горячностью отстаивал прямо-таки дикие и всех возмущавшие парадоксы и выходки.

Так, например, однажды в каком-то городе во время пожара в доме трудолюбия горели заживо двадцать четыре старушки. Сурков сейчас же воспользовался этим трагическим фактом и преубедительно начал доказывать, что для общества и государства сжигать стариков и старух чрезвычайно выгодно и что со временем это будет даже законодательным порядком введено в обиход жизни как мера чрезвычайно выгодная. С великолепно сделанной серьезностью на своей бойкой роже он начал высчитывать, сколько затрачивается денег на дело призрения престарелых и сколько пудов можно получить костяного удобрения, если их сжигать без излишних хлопот. Операция выходила, действительно, очень выгодной. Разумеется, его стыдили, упрекали, даже ругали, но все-таки спорили с ним, и каждый раз, когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто освежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, а порога даже блестящим спором. Сурков был единственным сыном зажиточного старика-чиновника, умершего, оставив сыну крупное состояние. Он недавно кончил университет, зачислился в помощники к одному из местных присяжных поверенных и - на этом остановился.

Вскоре после того, как он вошел в кружок Любимовой, он откровенно заявил: